

В. Г. Белинский

Русская литература в 1844

году



Виссарион Белинский
Русская литература в 1844 году

«Public Domain»

1844

Белинский В. Г.

Русская литература в 1844 году / В. Г. Белинский — «Public Domain», 1844

Настоящая статья лишь в незначительной части является обзором литературных явлений истекшего 1844 года. В основном же она направлена против славянофильства. В 1844 году борьба между западниками и славянофилами достигает чрезвычайной остроты, о чем достаточно свидетельствует стихотворный памфлет Н. Языкова «К не нашим». Белинский, в свою очередь, отвечает рядом полемических статей. Своеобразие настоящей статьи заключается в том, что главное внимание Белинского сосредоточено на анализе не критико-публицистических, а литературно-поэтических выступлений славянофилов и на критике их творческого метода. Поводом для этого послужили вышедшие в 1844 году сборники стихотворений Н. Языкова и А. Хомякова. Но Белинский рассматривает и значительное количество более ранних произведений обоих поэтов.

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента. Комментарии	10
--	----

Виссарион Григорьевич Белинский

Русская литература в 1844 году

Вот уже пятое обозрение годового бюджета русской литературы представляем мы нашим читателям. Обязавшись перед публикою быть верным зеркалом русской литературы, постоянно отдавая отчет во всякой вновь выходящей в России книге, во всяком литературном явлении, «Отечественные записки» не вполне выполнили бы свое назначение – быть полною и подробною летописью движения русского слова, если бы не вменили себе в обязанность этих годовых обозрений, в которых обо всем, о чем в продолжение целого года говорилось, как о настоящем, говорится, как о прошедшем, и в которых все отдельные и разнообразные явления целого года подводятся под одну точку зрения. Не ставим себе этого в особенную заслугу, потому что видим в этом только должное выполнение добровольно принятой на себя обязанности; но не можем не заметить, что подобная обязанность довольно тяжела. Читатели наши знают, что большая часть этих годовых обозрений постоянно наполнялась рассуждениями вообще о русской литературе и, следовательно, о всех русских писателях, от Кантемира и Ломоносова до настоящей минуты; а взгляд на прошлогоднюю литературу, главный предмет статьи, всегда занимал ее меньшую часть. Подобные отступления от главного предмета необходимы по двум причинам: во-первых, потому, что настоящее объясняется только прошедшим, и потому, что по поводу целой русской литературы еще можно написать не одну, а даже и несколько статей, более или менее интересных; но о русской литературе за тот или другой год, право, не о чем слишком много или слишком интересно разговориться. И это-то составляет особенную трудность подобных статей. Легко пересчитывать богатства истинные или мнимые; много можно говорить о них; но что сказать о бедности, близкой к нищете? Да, о совершенной нищете, потому что теперь нет уже и мнимых, воображаемых богатств. А между тем о чем же говорить журналу, если ему уже нечего говорить о литературе? Ведь у нас литература составляет единственный интерес, доступный публике, если не упоминать о преферансе, говоря о немногих, исключительных и как бы случайных ее интересах. Итак, будем же говорить о литературе, – и если, читатели, этот предмет уже кажется вам несколько истощенным и слишком часто истощаемым; если толки о нем уже доставляют вам только то магнетическое удовольствие, которое так близко к усыплению, – поздравляем вас с прогрессом и пользуемся случаем уверить вас, что мы, в свою очередь, совсем не чужды этого прогресса и что в этом отношении вы не правы, если вздумаете упрекнуть нас в отсталости от духа времени и в наивной запоздалости касательно его интересов... Еще раз: будем рассуждать о русской литературе, – предмет и новый и любопытный...

Переходчивы времена, как подумаешь! вспомните о том, что так сильно интересовало вас, что давало такую полноту вашей жизни и что было еще так недавно, – вы поневоле воскликнете с грустью:

Свежо предание, а верится с трудом!

На Руси еще не вывелись люди, которые

Известья черпают из забытых газет
Времен очаковских и покоренья Крыма;^[1]

люди, которые со вздохом вспоминают о пудре, о косах с кошельками, о висках à la pigeon,^[2] о шитых кафтанах, о шляпах-корабликах, об атласных штанах, о шелковых чулках и башмаках с бриллиантовыми пряжками и красными каблуками; о роброндах, о фижмах, о муш-

ках, о менуэте, о гротфатере, о вельможеских столах, куда всякий pauvre diable¹ мог явиться за подачкой, наестся и напиться и за все это расквитаться только униженным поклоном щедрому амфитриону, который так же мало замечал этот поклон, как и тех, кто сидел за столом его; о фейерверках, о пирах, о «Петриаде» Ломоносова, о трагедиях Сумарокова, «Россиаде» Хераскова, «Душеньке» Богдановича, одах Петрова и Державина и обо всей этой поэзии, столь плодотворной, столь громкой, столь однообразной, некогда возбуждавшей такое благоговейное удивление, а теперь известной большею частью только по воспоминаниям, по преданию и по слухам...

И правы, сто, тысячу раз правы эти вздыхающие остатки, одиноко и безотрадно уцелевшие от тех времен; вокруг них «все новое кипит, бывшее истребля». [3] Мир их и мир наш – два совершенно различных мира, между которыми нет ничего общего. Говоря с нами, они с трудом понимают в наших устах русский язык, так страшно изменившийся с тех пор; что же до наших понятий – они не вразумительны для них даже и при посредстве самого точного и верного перевода на их понятия. Положение таких людей можно сравнить только с несчастием – вдруг ожить, пролежав лет восемьдесят под тою землею, на которой все двигалось и изменялось с быстротою изумительной. Да, им, этим добрым людям, есть о чем вздохнуть! Но эти люди теперь – исключение, дорогая редкость, нечто вроде подлинника несторовой летописи, если только подлинник несторовой летописи где-нибудь еще существует или существовал когда-нибудь. Но теперь есть еще довольно людей другого мира, более близкого нашему. Это люди, которые юношами любовались на блестящий закат царствования Екатерины II и с гордыми надеждами встретили кроткое сияние царствования Александра Благословенного; которые еще не успели привыкнуть ни к пудре, ни к пуклям и весело расстались с этими атрибутами отошедшего к вечности века; которые без проверки, без сомнения, повторяли громкие фразы пожилых и старых людей о величии Ломоносова, Сумарокова, Хераскова, Петрова и Державина, но которые уже плакали навзрыд над «Бедною Лизою», предавались нежной меланхолии при чтении «Натальи, боярской дочери» и восхищались «Письмами русского путешественника». При этом поколении оды были еще в ходу, но более по укоренившемуся в прошлом веке благоговению к их громогласию, нежели вследствие потребностей наставшего нового века. Скажем более: ода тогда уже отжила свое время, и ее громозвучные возгласы были заглушены томными вздохами и нежным журчанием сладких слез. Одам не переставали удивляться, считая их высшим родом поэзии после героической поэмы; но новых даровитых одистов не являлось. Дмитриев пробовал писать оды, но только пробовал (что не помешало ему, однакож, жестоко осмеять оды в остроумной сатире «Чужой толк», – и настоящий успех имели его песни, басни, сказки, эпиграммы, надписи и мадригалы, а не оды. Между молодым поколением начали потом появляться esprits forts,² которые позволяли себе сомневаться в неоспоримом величии Сумарокова: и не мудрено – они ведь знали каждую строку Карамзина, выучили наизусть его стихи, равно как стихи Дмитриева и Нелединского; в театре восхищались трагедиями Озерова. Мерзляков даже дерзнул (о ужас!) изъявить довольно резкое сомнение насчет безукоризненного совершенства «Россиады» и «Владимира». [4] Муза Жуковского открыла изумленным глазам этого поколения совершенно новый мир поэзии. Нам раз случилось слышать от одного из людей этого поколения довольно наивный рассказ о том странном впечатлении, каким поражены были его сверстники, когда, привыкши к громким фразам, вроде: *О ты, священна добродетель!* – они вдруг прочли эти стихи:

Вот и месяц величавый
Встал над тихою дубравой;

¹ Бедняк. – *Ред.*

² Вольнодумцы. – *Ред.*

То из облака блеснет,
То за облако зайдет;
С гор простерты длинны тени;
И лесов дремучих сени,
И зеркало зыбких вод.
И небес далекий свод
В светлый сумрак облеченны...
Спят пригорки отдаленны,
Бор заснул, долина спит...
Чу!.. полночный час звучит.^[5]

По наивному рассказу, современников этой баллады особенным изумлением поразило слово *чу!*.. Они не знали, что им делать с этим словом, как принять его – за поэтическую красоту или литературное уродство... И в то время как Жуковский вводил и распространял вкус к романтизму, скрипучий, сросшийся с усечениями и какофонией русский псевдоклассицизм, под очаровательным пером Батюшкова, дошел даже не только до щегольства, но и почти до поэзии выражения, до мелодии стиха... И что же? – Едва прошло два десятилетия наступившего века, как явился Пушкин, – и доселе новое поколение с изумлением увидело себя поколением уже отжившим свое время... В самом деле, если русская проза, преобразованная Карамзиным, улучшенная Жуковским, еще не показала в это время решительного стремления к новому преобразованию, зато стихи так быстро, так скоро изменились, что тотчас же за Пушкиным даже и убогие талантом молодые люди запели такими легкими, такими гладкими стихами, что в сравнении с ними и стихи Батюшкова перестали казаться образцом изящества. И добро бы реформа стиха ограничивалась только его фактурой: нет, самый тон поэзии, ее содержание, ее мотивы – все стало диаметрально противоположно прежней поэзии. Сколько уже времени до того Жуковский писал баллады! на них некоторые косились, хотя большинство читало их с одобрением; но лишь явился Пушкин, не написавший почти ни одной баллады, как баллада сделалась любимым родом: все принялись за мертвецов, за кладбища, за ночных убийц; поднялись жестокие споры за балладу. Элегия наповал убила оду; уныние, грусть, *разочарование, сомнение, сладостная лень, пьянство, похмелье, пиры, студентское удалство, гамлетовское раздумье, разрушенные надежды, обманщица-жизнь, пена шампанского, разбойники, нищие, цыгане* – вот что, как хозяйева, вошло во храм русской поэзии и гордо пальцем указало дверь прежним жрецам и поклонникам... Критика, дотоле скромная, покорная служительница авторитета и льстивая повторяльщица избитых общих мест, вдруг словно с цепи сорвалась. Она перевернула все понятия, ложью объявила то, что дотоле считалось истиною, назвала истиною то, что дотоле считалось ложью. Сумарокова провозгласила она бездарным писакою, под пару Тредьяковскому; поэмы Хераскова из *великих* произвела только в *тяжелые*; Петрова объявила надутым ритором в стихах; даже Ломоносова дерзнула поставить, как поэта и лирика, на весьма почтительное расстояние от Державина. Из всех этих колоссальных слав уцелели только Ломоносов и Державин; но первый больше как ученый, как преобразователь языка, нежели как поэт; об одном только Державине новая критика повторила все старые фразы с прибавлением своих новых. Потом пользовались ее благосклонностью Хемницер и Богданович, и не был ею оценен Фонвизин – единственный писатель екатерининского века, которого будут читать еще не один век. К числу заслуг новой критики принадлежит еще то, что она уничтожила смешной предрассудок, основанный на кумовстве и безвкусице, – предрассудок, вследствие которого басни Дмитриева считались выше басен Крылова, тогда как здравый смысл и чистый вкус запрещали какое-нибудь сравнение между баснями Дмитриева и гениальными баснями Крылова...^[6] Не перечать всех подвигов новой критики! Не довольствуясь своими писателями, она смело пустилась судить (впрочем, с чужого голоса) об иностранных:

не только Флориан, Делиль, Кребильйон, Дюсис, Попе, Адиссон, Драйден, но и трагики – Корнель, Расин, Вольтер – были объявлены ею плохими и ничтожными поэтами. Взамен их она провозгласила великими гениями Шекспира, Сервантеса, Шиллера, Гёте, Байрона, Вальтера Скотта, *Виктора Гюго*, заговорила с уважением о Гофмане, Жан-Поле, Вашингтоне Ирвинге, Тике, Цшокке. – Буало, Баттё и Лагарп были ею уничтожены как законодатели в *области* изящного, как руководители литературного вкуса: на дребезги разбитых их статуй и пьедесталов поставила она братьев Шлегелей.

Но все эти «опасные новости», все эти «дикие неистовства» вольнодумной критики, так изумившие и раздражившие старое поколение, и вполнину не произвели на него такого страшного, потрясающего впечатления, как начавшиеся потом нападки на Карамзина. Тут вполне обнаружилось воспитанное Карамзиным поколение: в непростительной дерзости новых критиков судить о Карамзине не по табели о рангах, а по своему смыслу и вкусу увидело оно покушение на жизнь и честь – не Карамзина (которого честь достаточно обеспечивалась его заслугами), а на жизнь и честь карамзинского поколения. Война была страшная; много было пролито чернил и поломано перьев; сражались и стихами и прозой. Замечательно, впрочем, что эта война началась еще при жизни Карамзина (который не вмешивался в нее) и что первый осмелился заговорить о Карамзине, не по преданию и не по авторитету, а по собственному суждению, человек старого поколения – профессор Каченовский. Князь Вяземский доказывал ему его несправедливость в стихотворном послании, которое было напечатано в «Сыне отечества» (1821) и начиналось так:

Перед судом ума сколь, Каченовский! жалок,
Талантов низкий враг, завистливый зоил,
Как оный вечный огонь на алтаре весталок,
Так втайне вечный яд, дар лютой адских сил
В груди несчастного неугасимо тлеет.
На нем чужой успех, как ноша, тяготее;
Счастливица свежий лавр – колючий терн ему;
Всегда он ближнего довольством недоволен,
И вольный мученик, чужим здоровьем болен.

Г. Каченовский перепечатал это послание у себя, в «Вестнике Европы», поблагодарив издателей «Сына отечества» за запятую и восклицательный знак, которыми, в первом стихе, отделено имя того, к кому адресовано послание, и снабдив эту пьесу очень любопытными примечаниями.^[7] И долго после того продолжалась война... Карамзина не стало; князь Вяземский напечатал в «Телеграфе» еще стихотворную филиппику против врагов Карамзина, то есть против людей, которые почли себя вправе судить о Карамзине по крайнему *их*, а не чужому разумению; в этой филиппике он сравнил Карамзина с гениальным зодчим, который из грубого материала русского языка воздвиг великолепный храм; а критиков Карамзина сравнил он с совами, которые набились в храм, и пр.^[8] Но, несмотря на все филиппики в прозе и стихах, время все шло да шло, унося с собою и вещи, и людей, все изменяя в пользу нового насчет старого. Из поколения, образованного под влиянием карамзинского направления, многие смотрели на Пушкина косо, как на литературного еретика; но очень немногие умели как-то эклектически сочетать уважение к Пушкину и другим новым талантам, с уважением, попрежнему более упрямым, нежели отчетливым, к литературным корифеям своего времени. *Мое время, наше время – какие это волшебные слова для человека! И как не считать ему своего времени за золотой век Астреи: ведь он тогда был молод и счастлив! Писатели его времени были первыми, которые поразили впечатлением его юный ум, его юное сердце, а впечатления юности неизгладимы!.. И потому мы не можем без живой симпатии читать этих стихов, в кото-*

рых отжившее свой век поколение, в лице одного из замечательнейших своих представителей, с такою грустною искренностью признает себя побежденным и, отказываясь делить интересы нового поколения, уже не обвиняет его за то, что оно живет жизнью тоже своего, а не чуждого времени:

Сыны другого поколения,
Мы в новом – прошлогодний цвет:
Живых нам чужды впечатленья,
А нашим в них сочувствий нет,
Они, что любим, разлюбили,
Страстям их – нас не волновать!
Их не было там, где мы были,
Где будут – нам уж не бывать!
Наш мир – им храм опустошенный,
Им баснословье – наша быль,
И то, что пепел нам священный —
Для них одна немая пыль.
Так мы развалинам подобны,
И на распутии живых
Стоим как памятник надгробный
Среди обителей людских.^[9]

Да, понятна такая грусть, равно как и то, что поколение карамзинского периода нашей литературы проиграло тяжбу о своем первенстве скорее, нежели увидело и призналось, что его тяжба проиграна. Между ним было много людей, которые прочли первые печатные строки Карамзина в минуту их появления, а Карамзин начал писать за десять лет до начала нового столетия:^[10] следовательно, многие из людей этого поколения, не приготовившись, встретили славу Пушкина вдруг выросшую колоссально, без их ведома, без их содействия, и какую славу! – славу, которой до него не знал ни один русский поэт, – славу *народную*... В то время самые младшие из людей этого поколения были уже людьми возмужалыми, вполне развившимися и определившимися; большая же часть этого поколения состояла из людей пожилых; и если между ними немного было стариков, то к ним примкнулись, в чувстве оппозиции новой литературе, все старцы ломоносовского периода нашей литературы, – старцы, которые, разнясь с ними во многом, почти все совершенно сходились в безусловном удивлении к Карамзину. Но вот что удивительно: как это новое, это *романтическое*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Комментарии

1.

Обе цитаты из комедии «Горе от ума» (д. II, явл. 2 и д. II, явл. 5).

2.

Pigeon (фр.) – голубь; модная прическа «с пуклями наподобие горлицыных крылышек» часто упоминается при изображении щеголей в сатирической литературе XVIII века.

3.

Из стихотворения Пушкина «К вельможе» (1830).

4.

Критический разбор «Россиады» Хераскова был напечатан А. Ф. Мерзляковым в журнале «Амфион», 1815 (№№ 1, 2, 3, 5, 6, 8 и 9). Несмотря на то, что указания на отдельные недостатки поэмы сопровождалась в этой статье многочисленными оговорками о ее великих достоинствах, выступление Мерзлякова знаменовало собой начало критической переоценки авторитета одного из наиболее прославленных писателей эпохи классицизма.

5.

Из баллады В. А. Жуковского «Людмила», впервые напечатанной в журнале «Вестник Европы», 1808.

6.

Первая, еще несмелая, попытка критической переоценки авторитетов классицизма была сделана А. Марлинским (см., например, его статью «Взгляд на старую и новую словесность в России». Полн. собр. соч., изд. 4-е, СПб, 1847, ч. XI, стр. 135–157). Однако перечисляя «подвиги новой критики», Белинский имеет в виду главным образом Н. А. Полевого, его статьи и рецензии: «Сочинения Державина», «Баллады и повести В. А. Жуковского», «Сочинения И. И. Дмитриева», «Борис Годунов», «Сочинение Александра Пушкина» (печатавшиеся в «Московском телеграфе» 1832–1833 гг. и позднее вошедшие в его книгу «Очерки русской литературы», ч. I–II, СПб, 1839).

7.

Послание П. А. Вяземского напечатано в «Сыне отечества», 1821, № 2, перепечатано Каченовским в «Вестнике Европы», 1821, ч. 116, № 2, стр. 98–106. Каченовский писал в примечании: «Благодарность издателям С. О.! Поставив запятую и знак восклицательный, они отвели ругательство от меня и подозрение в дурном умысле от г-на Вяземского...» (стр. 98).

8.

Речь идет об эпиграмме П. А. Вяземского «Быль» («Московский телеграф», 1828, т. XXIII, стр. 271), явившейся ответом на критическую статью об «Истории» Карамзина, напечатанную в журнале «Московский вестник» того же года. Вяземский использовал для полемики с новыми врагами Карамзина эпиграмму, написанную им около 1818 года в связи с первыми выступлениями Каченовского против «Истории» Карамзина.

9.

Из стихотворения П. А. Вяземского «Старое поколение» (альманах «Утренняя заря», СПб, 1841, стр. 204).

10.

Белинский, очевидно, имеет в виду «Письма русского путешественника», впервые опубликованные в «Московском журнале» 1791–1792 гг. Однако первый печатный труд Карамзина (перевод из Геснера) появился в 1783 году, а первая оригинальная «истинно русская повесть» «Евгений и Юлия» – в 1789 году (в журнале «Детское чтение для сердца и разума»).